

## ПЕТЕРБУРГСКИЕ СНОВИДЕНИЯ В СТИХАХ И ПРОЗЕ

(...) Помню, раз, в зимний январский вечер, я спешил с Выборгской стороны к себе домой. Был я тогда еще очень молод. Подойдя к Неве, я остановился на минутку и бросил пронзительный взгляд вдоль реки в дымную, морозно-мутную даль, вдруг заалевшую последним пурпуром зари, догоравшей в мглистом небосклоне. Ночь ложилась над городом, и вся необъятная, вспухшая от замерзшего снега поляна Невы, с последним отблеском солнца, осыпалась бесконечными мириадами искр игристого инея. Становился мороз в двадцать градусов... Мерзлый пар валил с усталых лошадей, с бегущих людей. Сжатый воздух дрожал от малейшего звука, и, словно великаны, со всех кровель обеих набережных подымались и неслись вверх по холодному небу столпы дыма, сплетаясь и расплетаясь в дороге, так что, казалось, новые здания вставали над старыми, новый город складывался в воздухе... Казалось наконец, что весь этот мир, со всеми жильцами его, сильными и слабыми, со всеми жилищами их, приютами нищих или раззолоченными палатами, в этот сумеречный час походит на фантастическую, волшебную грезу, на сон, который в свою очередь тотчас исчезнет и искурится паром к темно-синему небу. Какая-то странная мысль вдруг заплевелилась во мне. Я вздрогнул, и сердце мое как будто облилось в это мгновение горячим ключом крови, вдруг вскипевшей от прилива могущественного, но доселе незнакомого мне ощущения. Я как будто что-то понял в эту минуту, до сих пор только шевелившееся во мне, но еще не осмысленное; как будто прозрел во что-то новое, совершенно в новый мир, мне незнакомый и известный только по каким-то темным слухам, по каким-то тайн-

ственным знакам. Я полагаю, что с той именно минуты началось мое существование... <...>

И вот с тех пор, с того самого видения (я называю мое ощущение на Неве видением) со мной стали случаться все такие странные вещи. Прежде в юношеской фантазии моей я любил воображать себя иногда то Периклом, то Марием, то христианином из времен Нерона, то рыцарем на турнире, то Эдуардом Глянденингом из романа «Монастырь» Вальтер Скотта, и проч., и проч. И чего я не перемечтал в моем юношестве, чего не пережил всем сердцем, всей душою моей в золотых и воспаленных грезах, точно от опиума. Не было минут в моей жизни полнее, святее и чище. Я до того замечтался, что проглядел всю мою молодость, и когда судьба вдруг толкнула меня в чиновники, я... я... служил примерно, но только что кончу, бывало, служебные часы, бегу к себе на чердак, надеваю свой дырявый халат, развертываю Шиллера и мечтаю, и упиваюсь, и страдаю такими болями, которые слаще всех наслаждений в мире, и люблю... люблю... и в Швейцарию хочу бежать, и в Италию, и воображаю перед собой Елизавету, Луизу, Амалию. А настоящую Амалию я тоже проглядел; она жила со мной, под боком, тут же за ширмами. Мы жили тогда все в углах и питались ячменным кофеем. За ширмами жил некий муж, по прозвищу Млекопитаев; он целую жизнь искал себе места и целую жизнь голодал с чахоточной женою, с худыми сапогами и с голодными пятерыми детьми. Амалия была старшая, звали ее, впрочем, не Амалией, а Надей, ну да пусть она так и останется для меня навеки Амалией. И сколько мы романов перечитали вместе. Я ей давал книги Вальтер Скотта и Шиллера; я записывался в библиотеке у Смирдина, но сапогов себе не покупал, а замазывал дырочки чернилами; мы прочли с ней вместе историю Клары Мовбрай<sup>1</sup> и... расчувствовались так, что я теперь еще не могу вспомнить тех вечеров без нервного сотрясения. Она мне за то, что я читал и пересказывал ей романы, штопала старые чулки и крахмалила мои две манишки. Под конец, встречаясь со мной на нашей грязной лестнице, на которой всего больше было яичных скорлуп, она вдруг стала как-то странно краснеть — вдруг так и вспыхнет. И хорошенькая какая она была, добрая, кроткая, с затаенными мечтами и с сдавленными порывами, как и я. Я ничего не замечал; даже, может быть, замечал, но... мне приятно было читать «Kabale und Liebe»\* или по-

---

\* «Коварство и любовь» (нем.).

вести Гофмана. И какие мы были тогда чистые, непорочные! Но Амалия вышла вдруг замуж за одно беднейшее существо в мире, человека лет сорока пяти, с шишкой на носу, жившего некоторое время у нас в углах, но получившего место и на другой же день предложившего Амалии руку и... непроходимую бедность. У него всего имения было только шинель, как у Акакия Акакиевича, с воротником из кошки, «которую, впрочем, всегда можно было принять за куницу». Я даже подозреваю, что будь у него кошка, которую нельзя было принять за куницу, то он, может, и не решился бы жениться, а еще подождал. Помню, как я прощался с Амалией: я поцеловал ее хорошеньюю ручку, первый раз в жизни; она поцеловала меня в лоб и как-то странно усмехнулась, так странно, так странно, что эта улыбка всю жизнь царяла мне потом сердце. И я опять как будто немножко прозрел... О, зачем она так засмеялась,— я бы ничего не заметил! Зачем все это так мучительно напечатлелось в моих воспоминаниях! Теперь я с мучением вспоминаю про все это, несмотря на то, что женился я на Амалии, я бы, верно, был несчастлив! Куда бы делись тогда Шиллер, свобода, ячменный кофе, и сладкие слезы, и грезы, и путешествие мое на луну... Ведь я потом ездил на луну, господа.

Но бог с ней, с Амалией. Только что я сам обзавелся квартирой и смиренным местечком, самым, самым смиренным из всех местечек на свете, мне стали сниться какие-то другие сны... Прежде в углах, в Амальины времена, жил я чуть не полгода с чиновником, ее женихом, носившим шинель с воротником из кошки, которую можно было всегда принять за куницу, и не хотел даже и думать об этой кунице. И вдруг, оставшись один, я об этом задумался. И стал я разглядывать и вдруг увидел какие-то странные лица. Всё это были странные, чудные фигуры, вполне прозаические, вовсе не Дон Карлосы и Позы<sup>2</sup>, а вполне титулярные советники и в то же время как будто какие-то фантастические титулярные советники. Кто-то гримасничал передо мною, спрятавшись за всю эту фантастическую толпу, и передергивал какие-то нитки, пружинки, и куколки эти двигались, а он хохотал и все хохотал! И замерещилась мне тогда другая история, в каких-то темных углах, какое-то титулярное сердце, честное и чистое, нравственное и преданное начальству, а вместе с ним какая-то девочка, оскорблённая и грустная, и глубоко разорвала мне сердце вся их история. И если б собрать всю ту толпу, которая тогда мне приснилась, то вышел бы славный маскарад... Теперь, теперь дело другое. Теперь мне снится, пожалуй, хоть

и то же, но в других лицах, хотя и старые знакомые стучатся иногда в мою дверь. (...)

(...) Открылся вдруг новый Гарпагон, умерший в самой ужасной бедности, на грудах золота. Старик этот, которого тоже нужно отнести к замечательным субъектам доктора Крупова, был некто отставной титулярный советник Соловьев, имевший около восьмидесяти лет от роду. Он нанимал себе угол за ширмой за три рубля. В своем грязном углу Соловьев жил уже более года, не имел никаких занятий, постоянно жаловался на скудость средств и даже, верный характеру своей видимой бедности, за квартиру вовремя не платил, оставшись после смерти должен за целый год. В течение этого года новый Плюшкин постоянно был болен, страдал одышкою и грудным расстройством и ходил за советами и лекарствами в Максимилиановскую лечебницу. Он отказывал себе в свежей пище, даже в последние дни своей жизни. После смерти Соловьева, умершего на лохмотьях, посреди отвратительной и грязной бедности, найдено в его бумагах 169 022 р<sup>убля</sup> с<sup>ребром</sup> кредитными билетами и наличными деньгами. Газетное объявление гласит, что найденные деньги отданы на хранение в департамент Управы благочиния, а тело умершего подлежит вскрытию...

Я раздумывал об этом происшествии и приближался к Гостиному двору. Становился вечер; в магазинах, за цельными, слегка запотевшими стеклами, загорелся газ. Рысаки и офицеры летели по Невскому; тяжело хрустя по снегу, неслись блестящие кареты, запряженные гордыми конями, с гордыми кучерами и надменными лакеями. Изредка раздавался звонкий стук подковы, тронувшей сквозь снег камень; по тротуарам валили прохожие... был канун рождества... И вот передо мною в толпе мелькнула какая-то фигура, не действительная, а фантастическая. Я ведь никак не могу отказаться от фантастического настроения. Еще в сороковых годах меня называли и дразнили фантазером. Тогда, впрочем, я не пролез в одну щелочку. Теперь, разумеется,— седина, житейская опытность и т. д. и т. д., а между тем я все-таки остался фантазером. Фигура, скользнувшая передо мною, была в шинели на вате, старой и изношенной, которая непременно служила хозяину вместо одеяла ночью, что видно было даже с первого взгляда. Исковерканная шляпа, с обломанными полями, сбивалась на затылок. Клочки седых волос выбивались из-под нее и падали на воротник шинели. Старичок подпирался палкой. Он жевал губами и, глядя в землю, торопился куда-то, вероятно к себе домой. Дворник, сгребавший с тротуара снег, на-

рочно подбросил прямо на его ноги целую лопату; но старичок этого даже и не заметил. Поравнявшись со мной, он взглянул на меня и мигнул мне глазом, умершим глазом, без света и силы, точно предо мной приподняли веку у мертвеца, и я тотчас догадался, что это тот самый Гарпагон, который умер с полмиллионом на своих ветошках и ходил в Максимилиановскую лечебницу. И вот (у меня воображение быстрое) передо мной нарисовался вдруг образ, очень похожий на пушкинского Скупого рыцаря. Мне вдруг показалось, что мой Соловьев лицо колоссальное. Он ушел от света и удалился от всех соблазнов его к себе за ширмы. Что ему во всем этом пустом блеске, во всей этой нашей роскоши? К чему покой и комфорт? Что ему за дело до этих лиц, до этих лакеев, сидящих на каретах, до этих господ и госпож, сидящих внутри карет; до этих господ, катающихся на рысаках, и до этих господ, бредущих пешком, до этих очаровательных молодых людей, на лицах которых написана ненасытная жажда камелий и рублей серебром?.. Что ему за дело до этих камелий, Минн и Арманс?.. Нет; ничего ему не надо, у него все это есть,— там, под его подушкой, на которой наволочка еще с прошлого года. Пусть с прошлого года; он свистнет, и к нему послушно приползет все, что ему надо. Он захочет, и многие лица осчастливают его внимательной улыбкой. Вот вино — оно бы согрело его кровь; оно бы помогло ему, и даже недорогое вино... Не надо ему никакого. Он выше всех желаний... Но когда я фантазировал таким образом, мне показалось, что я хватил не туда, что я обкрадываю Пушкина, и дело происходило совсем другим образом. Нет, это было, верно, не так. Лет шестьдесят назад Соловьев, верно, где-нибудь служил; был молод, юн, лет двадцати. Может быть, и он тоже имел увлечения, разъезжал на извозчиках, знал какую-нибудь Луизу и ходил в театр смотреть «Жизнь игрока». Но вдруг с ним что-нибудь случилось такое, как будто подталкивающее под локоть,— одно из тех происшествий, которые в один миг изменяют всего человека, так что он даже сам того не заметит. Может быть, с ним была какая-нибудь минута, когда он вдруг как будто во что-то прозрел и заробел перед чем-то. И вот Акакий Акакьевич копит гроши на куницу, а он откладывает из жалованья и копит, копит на черный день, неизвестно на что, но только не на куницу. Он иногда и дрожит, и боится, и закутывается воротником шинели, когда идет по улицам, чтоб не испугаться кого-нибудь, и вообще смотрит так, как будто его сейчас распекли. Проходят годы, и вот он пускает с успехом гроши свои в рост, по мелочам, чинов-

никам и кухаркам, под вернейшие заклады. Копится сумма, а он робеет и робеет все больше и больше. Проходят десятки лет. У него уже таятся заклады тысячные и десятитысячные, Он молчит и копит, всё копит. И сладостно, и страшно ему, и страх все больше и больше томит его сердце, до того, что он вдруг осуществляет свои капиталы и скрывается в какой-то бедный угол. Он держал было сначала у себя, в заплесневелой квартире своей, со стенами под желтой краской, кухарку и кошку; кухарка была глупа, но честная от глупости. А он все ее бранил и корил; ел картофель, пил цикорий,— и поил им кухарку, безответную и послушную. Мясо покупал он только для кошки, в месяц по фунту, и она от этого страшно мяукала, и когда мяукала и жалобно смотрела в глаза, прося говядинки, и терлась около него, подняв хвост строкою, он гладил ее, называл ее Машей, а говядинки все-таки не давал. Все богатство его состояло в стенных часах, с гирями на веревках, и от нечего делать он посматривал на эти часы, как будто интересуясь, который час. Но околела кошка, за кухаркой прислал муж из деревни, часы давно уже стали и развалились. Старичок остался один, осмотрелся, пожевал губами и продал за два гроша на толкучий свои три провалившиеся стула, ломберный стол, с которого он давно уже придумал содрать сукно, чтобы употребить его на внутреннюю подкладку халата, но не употребил, а, пожевав губами, бережно сложил и спрятал в свой узелок. Продал он и часы и — отправился проживать по углам. <...>